

Robert Hodel

ОБОБЩЕСТВЛЕНИЕ ОБЩНОСТИ (ВЕБЕР, ТЁННИС, ПЛАТОНОВ)

В своей книге *Новая неясность (Die neue Unübersichtlichkeit)* немецкий философ и социолог, представитель «франкфуртской школы» Юрген Хабермас (1985, 188-189) пишет: «Сегодня императивы экономики и управления с помощью средств массовой информации, денег и власти внедряются в такие сферы жизни, которые, будучи оторванными от самоориентирующего (коммуникативного) действия и будучи подвергнутыми информационному манипулированию, переживают нечто вроде травмы». Основой коммуникативного действия, по убеждению Хабермаса, является «жизненный мир» (Lebenswelt), который, все больше вытесняется «системой».

Примером «колониализации жизненного мира» (Habermas 1995, II, 471) по Хабермасу может служить то, что происходит сегодня с таким институтом, как брак. И в этой связи достаточно вспомнить хотя бы обсуждение в принципе не лишённого основания вопроса о том, как можно в случае развода компенсировать финансовый ущерб супруге, которая ради детей пожертвовала своей карьерой. То что подразумевалось как нечто само собой разумеющееся, т.е. ответственность семьи за всех ее членов, становится в этом случае предметом закона и объектом «системы».

Тот, кто знаком с революционным семейным законодательством в России, наверняка вспомнит в этой связи и Александру Коллонтай с ее альтернативным предложением урегулирования алиментов. Она, в частности, требовала, чтобы общий страховой фонд взносов всех трудящихся обеспечивал женщинам полную независимость от отцов их детей (Eschenbach/Reichling 1988, 233). Это предложение следует понимать в контексте более общих идеологических установок того времени, как например, стремления к преодолению «буржуазного» семейного образа жизни или «теории стакана воды» (согласно которой заняться сексом просто, как выпить стакан воды), которая была распространена в первые годы советской власти и которую Коллонтай отразила в своем романе *Свободная любовь*.¹

¹ Главная героиня романа Вася долго мучится из-за неверности ее возлюбленного, и наконец преодолевает чувства ревности: «Поняла Вася, что она [любовница мужа-

Отметим, что обе темы – коллективное воспитание детей и свободная любовь – полемически обсуждаются в пьесе Платонова/Пильняка² *Дураки на периферии*. В пьесе цитируется и Коллонтай в форме шуточной пионерской песни.

В дальнейшем, в рамках данного исследования, будет рассмотрена тема рационализации и бюрократизации общества в трех произведениях: в рассказе А. Платонова *Город Градов* (1927), в пьесе *Дураки на периферии* (1928) и в романе Ф. Кафки *Замок* (1922). При этом мы будем опираться на работы двух немецких социологов, которые широко обсуждались в первые десятилетия XX века, а именно на *Хозяйство и общество* (*Wirtschaft und Gesellschaft*) Макса Вебера (1922) и на *Общность и общество* (*Gemeinschaft und Gesellschaft*) Фердинанда Тённиса (1887, 3-е издание, 1920). Обращаясь к авторам, которые Платонову вряд ли были знакомы,³ мы хотим уделить особое внимание тому, что по-немецки обозначается понятием *Zeitgeist* (дословно: дух времени), т.е. общему интеллектуальному контексту европейской культуры той эпохи. Существенной ее чертой является на наш взгляд осмысление рационализированного общества.⁴ Подобно тому как Кафка, отчасти используя свой опыт юриста и сотрудника «рабочего страхового ведомства от несчастных случаев королевства Богемии», изображает в *Замке* не только неприятие бюрократического аппарата главным

товарища] в самом деле для Володи все равно, что „стакан водки – выпьешь и забудешь“» (Kollontaj 1925, 34).

² По поводу авторства Н. Корниенко и Е. Антонова пишут: «И на этих выступлениях [публичное чтение пьесы в Доме Герцена и на собрании *Литературного звена*], и в печатных отзывах пьеса представлялась как результат совместного творчества А. Платонова и Б. Пильняка, однако ее стилистический анализ свидетельствует скорее в пользу единоличного авторства Андрея Платонова» (Платонов 2006, 426). Это убеждение разделяют также и платоноведы Е. Яблоков, Н. Полтавцева и К. Баршт. Поэтому мы в дальнейшем говорим в связи с авторством пьесы лишь в единственном числе.

³ Несколько по-другому обстоит дело с Кафкой и М. Вебером. Брат Макса Вебера, Альфред, который был специалистом по политической экономии, был назначен «попечителем» (референтом) докторского экзамена Кафки. Его эссе «Чиновник» (*Der Beamte*) оказало существенное влияние на рассказ Кафки «В исправительной колонии» (ср. Lange-Kirchheim 1977, 202-221). Поскольку оба брата Вебера тесно сотрудничали, можно исходить из того, что Кафка был хорошо знаком и с работами Макса Вебера.

⁴ Альфред Вебер в упомянутом эссе «Чиновник» отзываясь о государственной бюрократии резко отрицательно: «Это был один единый чудовищный процесс, который перестроил всю жизнь по тому образцу большого предприятия, который мы теперь – в царстве господства техники, в царстве господства машин и производственных мощностей – называем „капиталистическим обществом“. Он вырвал людей наших низших слоев из их прежнего существования и беспощадно засосал их в качестве чистой рабочей силы в те серые или подобные им строения, которые теперь покрывают собой наше жизненное пространство» (Вебер 1910, 1323, перевод – мой, Р.Х.).

В следующей фазе «также средние и высшие слои общества оказываются лишенными их свободного существования и оказываются втянутыми в огромный рациональный механизм в качестве рабочей силы» (Вебер 1910, 1324).

героем, но и стремление этого героя к карьере внутри этого аппарата, так и Платонов в *Городе Градове* и в *Дураках на периферии* выражает сомнение как по поводу бюрократизации страны, так и по поводу собственных преокупаций. Достаточно уже вспомнить ранние воронежские статьи писателя как, например, «Нормализованный работник» или «Ремонт земли».

Следовательно, как конкретный исторический фон произведений Платонова, так и официальные советские критические документы на тему бюрократии (напр. «Государство и революция» Ленина, 1918, или «Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России» М. Ольминского, 1925) будут интересовать нас лишь во вторую очередь.⁵

1. *Город Градов* – рационализация или бюрократизация?

Подобно «строителям коммунизма» в других произведениях Платонова, герой *Города Градова* Шмаков приезжает в город городов как посторонний человек. Несмотря на сатирические намеки на тамбовские условия и на постановление XV партконференции (Корниенко 1995, 640), в котором бюрократия осуждается как препятствие на пути к социалистическому строю, рассказ напоминает такие произведения Платонова как *Епифанские иллюзы*, *Родина электричества* или *Чевенгур*. Подобно техническому работнику в *Родине электричества*, который противопоставляет насос для поливки высохших полей отчаянному молебну жителей Деревни о ниспослании дождя, Шмаков видит свою задачу, говоря словами Вебера, в рационализации и бюрократизации общества.

Шмаков вводится в текст следующими словами: «В Градов Иван Федорович Шмаков ехал с четким заданием – врать в губернские дела их здравым смыслом». Он славился, как можно узнать в дальнейшем, «совестливостью перед законом и административным инстинктом» (Платонов 1995, 73).⁶ Для легалиста Шмакова бюрократ как таковой является «зодчим грядущего членораздельного социалистического общества» (90).

Положительное начало образа Шмакова вырисовывается в первую очередь в сопоставлении его с бюрократом Бормотовым, а также в некоторых автобиографических деталях: как и молодой Платонов, Шмаков видит в природе враждебную стихию, которая вышла из-под контроля человека. При этом он борется не столько против внешней, сколько против внутренней природы: всепожирающую засуху Шмаков хочет побороть тем, что направляет всю воду земли «в подземные недра», откуда можно будет

⁵ Основополагающей для предстоящих размышлений является статья Е.А. Яблокова «Разбойники, или Отцы без детей (Проблемы и герои пьесы „Дураки на периферии“» (Яблоков 2008, 157-167).

⁶ Далее ссылки на это издание приводятся в тексте лишь с указанием страниц.

повсеместно орошать поля: «... облака исчезнут, а в небе станет вечно гореть солнце, как видимый административный центр» (78). Внутреннюю природу Шмаков, кажется, уже преодолел: не имея ни семьи, ни друзей, он не знает других «отношений к людям, кроме служебных» (85). Даже его собственная воля отступает перед долгом: «Воли в себе он не знал, ощущая лишь повиновение – радостное, как сладострастие» (85).

Служение социалистическому отечеству становится его новой религией. Оно склеивает «расползавшиеся части народа», пронизывает «их волей к порядку» и приучает «к однообразному пониманию обычных вещей» (77). Мир Шмакова построен не на основе доверия, которое он приравняет к «хищничеству», «ахинею» и «поэзии», а на основе документального, общего порядка (78), сформулированного в «терминах государственного точного языка» (81). Шмаков уверен, что лишь «бумага приучает людей к социальной нравственности, ибо ничто не может быть скрыто от канцелярии» (78). Только строгое следование закону, издание которого подлежит четкой иерархии,⁷ приводит к той привычке, которую Шмаков приравняет к нравственности (79).

Этой строгой законности противопоставляются старая религия, суеверие (80), произвол и коррупция. Именно с ними связан в рассказе образ заведующего административно-финансовым отделом земельного управления Степана Ермиловича Бормотова. Правда, и Бормотов видит в коммунизме новую религию, но её он понимает в старом смысле: «секретарь – это архирей», и «губком – епархия». А себя самого он склонен видеть как царя «на всемирной территории» (88). Бормотов убежден, что Советская власть уцелела только благодаря «деловой родственности от старого времени», которую он сам и воплощает (88). Неслучайно рассказ начинается с генеалогии столбового градовского дворянства, которое согласно летописям произошло «от татарских князей и мурз» (70).

О коррупции Бормотова говорит в тексте то обстоятельство, что он узнает машинистку Соню «по запаху и иным косвенным признакам» (82). Сексуальные намеки содержатся также в указании на его желание не только «заведовать охраной материнства и младенчества *своих* машинисток» (88, курсив – наш, Р.Х.). (Которое, кстати, многозначно перекликается с ролью Охматмлада в пьесе *Дураки на периферии*.)

В то время как Бормотов использует службу для удовлетворения собственных потребностей, Шмаков, наоборот, распространяет свою государственную деятельность на частную жизнь. Так в тексте читаем: «...даже на

⁷ Отношение Шмакова к начальству проявляется в следующем поступке: «Шмаков исчитал все дело и нашел, что это дело можно решить тройко, о чем и написал особую докладную записку начальнику учреждения, не предвешая вопроса, а ставя его на усмотрение вышестоящих инстанций» (80).

частной квартире, вдали от начальства, они чувствовали себя служащими государства» (84).

Последний «большой социально-философский труд» Шмакова носит заглавие «Принципы обезличения человека, с целью перерождения его в абсолютного гражданина с законно упорядоченными поступками на каждый миг бытия». (99)

А одна из его главных идей состоит в том, что по мере того, как жизнь подвергается постоянному просмотру и контролю, государство становится душой:

Не в первый раз и не во второй, а более многократный констатировал Шмаков то знаменательное явление, что времени у человека для так называемой личной жизни не остается – она заменилась государственной и общепольной деятельностью. Государство стало душой. А то и надобно, в том и сокрыто благородство и величие нашей переходной эпохи! (93)

В скобках отметим, что Шмаков говорит о переходной эпохе. А что последует за ней?

Позиция Шмакова во многом напоминает концепцию бюрократии Макса Вебера, которая была первоначально сформулирована в 1900-е годы. В своем программном произведении *Хозяйство и общество*, опубликованном после его смерти (1922), Вебер рассматривает бюрократию как «рациональную» форму «легального господства». При легальном господстве люди подчиняются законно установленному безличному объективному порядку только в силу его формальной законности (Вебер 2005, 159), а распоряжения *начальника*, установленного этим порядком, легализируются на основе его компетенции, которую он приобретает в результате разграничения должностных обязанностей.

Кроме легального господства Вебер различает еще два «чистых типа легитимного господства» (там же, 159): традиционное и харизматическое.

– *Традиционное* господство основывается на «вере в святость традиций и легитимность авторитета, основанного на этих традициях» (там же, 159). Господствующий – это не «начальник», а *господин*, то есть персона, (там же, 167), чья традиционная власть гарантирована, прежде всего, личным почитанием и ограничена установившейся традицией.

– *Харизматическое* господство основывается на харизме *вождя*, т.е. на «незаурядных проявлениях святости или геройской силы, или образцовости личности и созданном этими проявлениями порядке» (там же, 159).

В свете концепции Вебера становится более понятным смысл противопоставления в *Городе Градове* рационального *начальника* Шмакова традиционному *господину* и харизматическому *вождю* Бормотову, которое

является одной из важных тем рассказа. Понятнее становится и замечание Молотова на полях последней страницы рукописи рассказа с требованием посадить Бормотова («этого гения бюрократии навыворот», как его называет Корниенко 1995, 643) в тюрьму.

С помощью концепции Вебера (2005, 16-41) можно во многом объяснить также и поведение Шмакова. Немецкий социолог различает четыре мотива «социального действия». Если применить их схему к Шмакову, то можно заметить следующее:

1. Шмаков не действует *целерационально* (*zweckrational*), т.е. его поведение не ориентировано «на цель, средства и побочные результаты его действий» (там же, 18), он не рассчитывает на лояльность партнера и не обдумывает соотношение средств и цели.

2. Шмаков не действует *аффективно*. Если он воспринимает свое повиновение как «радостное, как сладострастие» (85), то речь не идет о мотивировке его поведения, а скорее, так сказать, о побочном результате. Следуя строго Веберу, перед нами даже не социальное поведение, а сублимация такого поведения, напоминающая Акакия Акакиевича из *Шинели* Гоголя. Ведь эмоции Шмакова направлены не на другого, а на само повиновение.

3. Шмаков, в отличие от Бормотова, не действует *традиционно*, по привычке (Вебер 2005, 17), т.е. на основе подражания тем или иным образцам поведения, сложившимся в культуре и одобряемым ею. Однако, Шмаков убежден, что новая нравственность, как он называет свое легальное поведение, должна стать привычкой. Это может быть достигнуто в результате неустанного контроля «бумаги и отношения» (79).

4. Шмаков действует исключительно *ценностно-рационально* (*wertrational*), т.е. его поступки основываются на вере в безусловную, самодовлеющую ценность действия. «Невзирая на возможные последствия», он «следует своим убеждениям о долге...», подчиняясь указам и требованиям (Вебер 2005, 18).

Итак, рационализатор Шмаков в Градове выглядит как единственная альтернатива коррупции и произволу. Но, не смотря на это, автор вряд ли возлагает на своего героя какие-то надежды. При этом, как это ни парадоксально, можно заметить близость Шмакова к автору, которая, среди прочего, проявляется в сомнениях Шмакова по поводу бюрократизации общества. Сомнения эти амбивалентны.

Во-первых, сам язык Шмакова чреват силлогизмами, которые ведут к неизбежной апории: Иерархическое управление предполагает последнего подателя, которого уже никто не может принять, «прежде чем он подаст

заявление о себе» (95).⁸ Таким образом бюрократическая система как таковая ставится под вопрос.

Во-вторых, Шмакова мучит «преступная мысль», что настоящая жизнь не охватывается рационализированным аппаратом:

Не есть ли сам закон или другое присутственное установление – нарушение живого тела Вселенной, трепещущей в своих противоречиях и так достигающей всецелой гармонии? (95)

В подобном смысле следует истолковывать и намек на то, что тело Шмакова неподвластно ему во сне: «...у спящего Шмакова рычала и резко трескалась сухая жирная пища в животе» (80).

Шмаков, таким образом, начинает не доверять тому, что Вебер (2005, 29) называет «обобществлением» (*Vergesellschaftung*) социального поведения. При этом сомнения Шмакова находят аналогию не только в «эпифании» в башенной тюрьме, в которой Перри восхищается звездами, горевшими «в своей высоте и беззаконии» (Платонов 1995, 68), но также и в ранних произведениях Платонова, как, например, в сборнике *Голубая глубина*, в котором сталкиваются два различных начала: идеологически-аппелятивное и лирически-созерцательное.

Теперь мы хотим сопоставить эти оппозиции, которые широко обсуждались в посвященной Платонову критической литературе, с социологической концепцией Тённиса. Такое сопоставление мотивировано уже тем, что понятия Вебера (2005, 29) «общинизация, объединение в общности» (*Vergemeinschaftung*) и «обобществление» (*Vergesellschaftung*) восходят к положениям монографии Тённиса *Общность и общество*. (Это касается, кстати, и понятий Хабермаса «жизненный мир» и «система».)

Как и последователи традиции Аристотеля, согласно которой различаются домашнее и промышленное хозяйства, Тённис исходит из наличия двух конкурирующих между собой общественных форм, следующих друг за другом: *общности* и *общества* (Tönnies 1935, 251 / Тённис 2002, 378).⁹ Под *общностью* (*Gemeinschaft*, иногда этот термин надо переводить как *сообщество*) Тённис подразумевает, в первую очередь, семейную и деревенскую общину, которой он противопоставляет *общество* (*Gesellschaft*), которое реализовано в крупном современном городе и отличительной чер-

⁸ Та же самая мысль занимает бюрократов в *Дураках*...: «Да ведь заявление подается подателем сего, а кто удостоверит самого подателя, прежде чем он подаст о себе заявление?» (Платонов 2006, 52) В пьесе повторяется также выше упомянутый мотив солнца как административного центра (78): «Солнце, например, оно тоже видимый административный центр» (Платонов 2006, 33).

⁹ Далее ссылки на эти издания приводятся в тексте лишь с указанием страниц, Р. Х.

той которого являются денежная торговля и международный обмен товаров и услуг.

Социальный порядок *общности* покоится на «единодушии» (Eintracht) и обеспечивается и облагораживается «обычаем» (Sitte) и «религией» (241 / 363). Тённис характеризует этот порядок как «устойчивая», «реальная» и «подлинная совместная жизнь» (Zusammenleben), как «живой организм» (5 / 11-12), корни которого лежат «во взаимосвязи растительной жизни через рождение» и определяются такими категориями, как род и пол. Первичная форма этого порядка – семья, единение и взаимное утверждение которой непосредственно опираются на три вида отношений: 1) мать-ребенок, 2) супруг-супруга, 3) братья и сестры. Таким образом, понятие семьи включает в себя все три основополагающих принципа общности, а именно: родство (общность крови), соседство (общность места) и дружба (общность духа).

Понятия «единодушие» и «взаимопонимание» (consensus, 20 / 33) подразумевают взаимно-связывающую настроенность, некоторую собственную волю общины и особую социальную силу взаимной симпатии, которая сплачивает людей в качестве членов одного целого. В этом смысле каждая община (семья, деревня, город, народ, церковь) является высшим и общим «я». Она *от природы* обладает своей волей и жизненной силой и, следовательно, правом по отношению к воле ее членов (179 / 199, ср., например, отношение родителей к несовершеннолетним детям). Семейное и имущественно-правовое господство есть, по сути, господство целого над частью. Поэтому руководство (и послушание) являются естественным правом, основанным на обычаях и нравах, которые подтверждаются религиозными установками.

Социальная воля в *обществе*, напротив, характеризуется Тённисом такими выражениями, как «конвенция», «политика» и «публичное мнение» (251 / 379). Общество является «механическим агрегатом и артефактом» и лишь «преходящей и иллюзорной» совместной жизнью (5 / 12). В обществе люди в принципе отделены друг от друга и в нем нет места для деятельности, которая была бы возможна на основе априорно существующего единства. Первичной мотивацией каждого действия или поступка являются его самоотдача или, иными словами, расчет. Обмен, цель которого есть материальное благосостояние, – главное содержание социальной воли. Право определяется не обоснованными традицией, возрастом, физическим превосходством или религией категориями «добра» и «зла», а тем, что свободные лица конвенционально признают «правом» (Obligationenrecht, право обязательств, 184 / 279). Общество – это воплощение «всех рациональных правовых отношений» и «всех рациональных социальных отношений» (Тённис 1979, XXXIII). При этом Тённис оценивает формиро-

вание, систематизацию и универсализацию права явно отрицательно, поскольку оно непосредственно связано с «распадом жизни и обычаев» (211 / 318). При контрактных отношениях, которые развиваются от статуса к контракту, проявляется тенденция не проводить различий между собственным и чужим. «Рациональное, научное, свободное право» предусматривает «эманципацию индивидуумов от всех семейных, территориальных и городских уз, от предрассудков и верований, от унаследованных традиционных форм, привычек и обязанностей» (212 / 319). Роль религии и церкви как хранителей морали переняли ученые, направляющие теперь публичное мнение.

В свете идей Тённиса развитие Платонова в двадцатые годы можно охарактеризовать следующим образом. В первой, воронежской, фазе публицист и писатель Платонов выступает, в первую очередь, как выразитель общественного мнения. Он пропагандирует разум и науку, которые он противопоставляет природе с ее приматом пола, выступает за коммунизм и против религии и частной собственности, и видит в международном пролетариате положительный противовес нации, этносу и семье.

К середине 20-х годов это полярное видение мира писатель все чаще ставит под вопрос. Особенно ярко выражены эти его сомнения в таких произведениях как *О любви*, *Епифанские шлюзы* или *Город Градов*.

Дальнейший этап развития мировоззрения Платонова – роман *Чевенгур*. В нем писатель приводит оба полюса своей прежней бинарной идеологии к некоему синтезу. В свое время мы определили этот синтез как попытку писателя создать «общество как общность» (Hodel 2001, 426). Кстати, и сам Тённис, в конечном счете не был ни сторонником культурного пессимизма, ни немецкого почвенничества, а напротив, питал надежду на обновление общности в социализме (Тённис 1979, 158-159).

Общество как общность реализуется в платоновском романе во «втором Чевенгуре», то есть после появления в городе Александра Дванова. В «первом Чевенгуре», которому исторически соответствует военный коммунизм, проводится сплошное обобществление жизни сверху: вражеские классы ликвидируются, имущество и сексуальные отношения коллективизируются, семейные корни уничтожаются (безотцовщина), так что даже этническое происхождение человека становится несущественным и неопределенным. Однако во «втором Чевенгуре» общество снова приобретает черты общности. Важным признаком нового порядка становится работа. «Так мы ж работаем не для пользы, а друг для друга», говорит Чепурный Сербинову (Платонов 1988, 526). Все действуют добровольно и самостоятельно, т.е. без управления и вне иерархии. Таким образом город превращается в «братское семейство» без отцов (там же, 473), или, по терминологии Вебера (2005, 29), в «обобществленное» общество.

Имеется ли в виду нечто вроде этого «второго Чевенгура» и в рассказе *Город Градов*, когда в нем говорится о «переходной эпохе»?¹⁰

Однако, не только «второй Чевенгур» просуществует лишь недолго, но и сам автор, кажется, уже через год перестанет возлагать надежду на общество как общность.

Об этом его разочаровании и свидетельствует четырехактная пьеса *Дураки на периферии*.

2. Дураки на периферии – обобществление общности

По сравнению с *Городом Градовым* в этой пьесе существенно меняются акценты в оценке «обобществления», что проявляется уже на уровне сюжета.

В уездном городе Переучетске работает комиссия Охматмлада (ОММ: Охрана материнства и младенчества), состоящая из трех членов Евтюшкина, Ащеулова и Лютьина. Она принимает решение, согласно которому беременной Башмаковой не разрешается сделать аборт, поскольку ее муж в состоянии материально обеспечить существование ребенка. Башмаков идет в суд и добивается того, что отцом ребенка объявляют комиссию ОММ, в результате чего эта комиссия должна платить алименты. Такое коллективное правовое отцовство, которое в процессе производства обрачивается потенциальным биологическим отцовством, приводит жён Евтюшкина и Лютьина к тому, что они подают на развод. Разведённые отцы коллективным образом воспитывают младенца в помещении комиссии. Он будет воспитываться в новой семье, станет новым «госмужем» (Платонов 2006, 46).¹¹ Этот семейный эксперимент привлекает внимание посетителей из других частей страны. Но письмоводитель милиции Рудин, который тоже является возможным отцом ребёнка, хочет жениться на Башмаковой и воспитывать ребёнка в обычной семье, хотя «обильная женщина» (14) Башмакова, не испытывает к Рудину ничего, кроме презрения. Когда в конце пьесы появляется старший рационализатор из губгорода и по просьбе Евтюшкиной и Лютьиной аннулирует все разводы, Башмакова пытается убедить Ащеулова спрятаться втроем в лесу. Но, когда она подходит к колыбели с младенцем, оказывается, что ребенок умер от голода, не получив достаточного питания.

¹⁰ В своей книге «Государство и революция» и сам Ленин говорит о «первой фазе» коммунистического общества: «Учет и контроль – вот главное, что требуется для „налажения“, для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества» (В.И. Ленин 1974, 101). Яблоков относит эту цитату к каламбурному сочетанию «заниматься учетом контроля» в пьесе «Дураки на периферии» (Платонов 2006, 19).

¹¹ Далее ссылки на это издание приводятся в тексте лишь с указанием страниц, Р.Х.

Здесь следует особо остановиться на двух аспектах обобществления, нашедших свое отражение в пьесе.

Во-первых, это исчезновение сферы личного:

Уже в первых ремарках пьесы бросаются в глаза такие выражения как «письменный и обеденный столы» и «полумилиционная одежда» (14), которые предполагают смешение личного и общественного. В конце произведения взаимное пересечение общественного и частного пространства радикально обозначено в описании бюро ОММ: «наиболее рационально использованная жилплощадь: помесь учреждений, детского приюта и жилья» (44).

Вмешательство государства в личную сферу определяет в *Дураках...* жизнь человека с самого его зачатия. Так комиссия ОММ решает не только вопрос о праве на аборт, но также и вопрос о том, при каких условиях дети приносят пользу государству.¹² При этом комиссия не только становится биологическим отцом ребенка, но и должна воспитывать его: с младенческого возраста и до превращения в «госмужа».

В прямом смысле государство сует нос в самые интимные уголки жизни, как это происходит при обыске квартиры, во время которого досконально просматривается даже нижнее белье.

В картину исчезающей личной сферы органично вписывается также образ кормящей милиционерши. Несмотря на то, что эта, своего рода, советская мадонна, которая самоотверженно совмещает материнство и трудовую деятельность, и в конце горько оплакивает мертвого ребенка, в её характере преобладают черты сатиры и гротеска. Проиллюстрировать это можно следующей сценой, происходящей в суде: «Милиционерша левой рукой держит ребенка, а правой – суду под козырек» (35).

Обобществление жизни охватывает не только целый город, но и его окружение. Об этом свидетельствует эпизод с двумя крестьянами, которые хотят развестись со своими «дореволюционными женами» (30) и приносят в суд куст крыжовника с корнями (34) для того, чтобы их освободили от «сельского налога».

Второй важный для нас аспект пьесы можно обозначить введенным Вебером понятием целерациональности:

Мы уже видели, что Шмаков в *Городе Градове* воплощает ценностно-рациональное действие, напоминая тем самым героев-«строителей страны», в то время как Бормотов действует целерационально и одновременно

¹² Председатель ОММ Евтюшкин сообщает: «Врачебная комиссия, освидетельствовав вашу супругу, нашла ее состояние здоровья в полном блестящем положении, и даже констатировала, что даже полезны дети от таких блестящих густых матерей» (20). «Я принципиально стою на точке зрения, что родить надо неминуемо для пользы народонаселения» (24).

коррупцированно. В *Дураках...* ценностно-рациональное действие полностью исчезает. Тому есть разные причины:

Во-первых, члены Охматмлада больше не отождествляют самих себя со своей должностью, они скорее видят в себе жертв своей собственной организации. Ведь, если бы они, например, предоставили решать вопрос об аборте самим заинтересованным лицам, они – с точки зрения системы – пренебрегли бы своими обязанностями и поставили бы себя под угрозу – , что «комиссию реорганизовать могут» (25).

Несколько раз Ащеулов спрашивает: «А нас не сократят, на периферию не отправят?» (31, ср. также 32, 38, 54).

Подобные настроения свойственны и крючкотвору Башмакову («Я уже родил свою норму», 17). Он вызывает ОММ лишь по той причине, чтобы избежать того, что его «со службы тихо выкинут» (17). Перед обыском квартиры он «учиняет в доме малый погром» (15) и листает бумаги «для вида» (18). А когда они с Рудиным требуют пересмотра судебного дела, он снова оправдывает свой поступок прагматически: «благодаря состоянию моей законности, – иначе меня сократят» (48).

Во-вторых, на ОММ падает подозрение, что ее члены злоупотребляют своим положением для личных целей и что комиссия (по словам Евтюшкиной) охраняет «своих младенцев от чужих матерей» (31). В результате ОММ становится символом государственного произвола и коррупции. Такое мнение, которое сами члены комиссии не разделяют, укрепляется и в городе:

Лутын: Я все припоминаю, с какого места беззаконие началось, – и не вижу... Кругом закон, а мы посередине мучаемся.

АЩЕУЛОВ: Закон законом, а в городе нас за разбойников почитают... (43)

Означает ли все это, что автор *Дураков...* призывает возвратиться к старой общности? Ведь очевидно, что Рудина тянет именно к той жизни, которую Тённис как раз и обозначает этим понятием. Это подтверждают такие его реплики, как:

Иван Павлович, да ведь это [аборт] же против естества...» (17);

...я лично против коллективного воспитания и хочу воспитывать моего сына по своему усмотрению и душевности совместно с любимой женщиной, на основании естественных и земных принципов... (49)

Несомненно, что автор отчасти солидарен с подобной критикой обобществления жизни. Но, несмотря на это, Рудина нельзя истолковать ни как положительного героя, ни как антипода Башмакову и членам ОММ. В

конечном итоге и Рудин представляет собой карикатурный персонаж. Ведь он, также как и члены ОММ, хотя бы отчасти становится представителем того особого типа сознания, которое построено на вездесущей в пьесе оппозиции «периферия – центр». Об этом говорит, например, эпизод, в котором Рудин хвастается перед Башмаковой тем, что собирается уехать на время в губгород (14). К тому же Рудин не способен правильно оценивать чувства Башмаковой. Он не замечает, что она интересуется не им самим, а его обещанием купить ей чулки, и предается иллюзии быть единственным возможным отцом ребенка.¹³

Если подробнее рассмотреть его объяснения Башмаковой в любви, то можно заметить также и то, что эти объяснения, будучи вставленными между указаниями к карточной игре «в козла», выдержаны в болтливом тоне и чаще всего носят двусмысленный оттенок:

[...] а на самом деле эти массы и есть отдельные люди вроде меня, и даже любящие... Козлом вы остались, Марья Ивановна. И, например, любовь. Вам сдавать [...] Хожу под вас с пикей, Марья Ивановна. (14)

Старший рационализатор, который появляется на сцене лишь в конце пьесы, также не может быть назван положительным персонажем. Он, так сказать, сверху восстанавливает все браки, но не учитывает при этом потребности и желания отдельных людей (ср. *Усомнившегося Макара*). Восстановление брака неприемлемо не только для Башмаковой и Рудина, но также и для Евтюшкина и Ащеулова, которые давно уже отказались от брачной жизни. И даже Лутын, который в финале пьесы признается жене в любви («... я всегда тебя любил, Лидочка», 56) восхищается коммунальной жизнью в ОММ, а может быть, и самой Башмаковой («Тихая жизнь... Никогда так планомерно не жил, – вот что значит безбабие...», 47).

Итак, в пьесе нет персонажа, который мог бы указать положительный путь. Автор не верит ни в коммунистическое общество в лице ОММ, ни в возможность повернуть колесо истории вспять – назад к старой общности. Обобществление жизни тотально, гибель общности неизбежна.

¹³ Здесь даже возникает мысль, что Марья Ивановна поддалась Рудину лишь благодаря обещанным чулкам (ср. ее реплики: «А когда ты мне чулки принесешь? – Вторую неделю обещаешь», 15; «Подождем – увидим. Нашелся тоже родитель по шестому разряду. Я у тебя две недели чулки просила. Вон какие фильдеперсовы поступили в эпо, а ты – принципы», 18; «Да я с ним всего две недели и была в отношениях», 50). Если, однако, отождествить начало половой связи с обещанием купить ей подарок, Рудин не входит в ряд потенциальных отцов. Но несмотря на это, в пьесе сохраняется возможность отцовства и для Рудина, ведь нельзя окончательно установить хронологию событий, тем более что потерянные страницы могли бы говорить о других временных отношениях.

3. Франц Кафка: *Замок*

Герой романа Кафки, К., по-видимому, приглашен в Замок в качестве землемера. По мере развития действия ему приходится осознать, что Замок – это не просто одна из реалий, а некий загадочный центр управления, центр таинственного и иррационального бюрократического аппарата, который подчиняет себе всю жизнь деревни. Герой стремится получить как можно больше информации об этом центре и одновременно попадает под власть бюрократической идеологии.

Этот незаконченный роман получил очень различные интерпретации, которые основаны на различных толкованиях символического образа Замка. В этих толкованиях Замок сравнивается с отцом, с Богом, с экзистенциальным Ничто, с религиозной общностью, с бюрократическим государственным аппаратом или с тоталитарной системой. Так, например, Макс Брод в послесловии к первому изданию 1926 года трактует тотальность и недостижимость Замка положительно – как «милость» и «божественное направление человеческой судьбы» (Kafka 1986, 349),¹⁴ а в постепенном приобщении К. к его идеологии видит залог позитивного развития: К. начинает входить в религиозную общность.

В дальнейшем мы выделим противоположную точку зрения в трактовке *Замка*, делая ударение на бюрократизацию и тотализацию общества, но, при этом, мы отнюдь не хотим поставить под вопрос многозначность произведения. Ведь как показывают новейшие исследования о писателе, например, работа «Кафка и женщины» (Mittau 2007), даже биографические проблемы его творчества далеко не исчерпаны.

Рассматривая понятие тотальности, которое стоит в центре данных исследований, мы исходим из тезиса о двух аспектах обобществления, упомянутых в первой части данной статьи, а именно о «потери приватности» и «целерациональности».

Потеря приватности

Уже в начале романа чувствуется угроза личной сфере, когда К. не находит себе комнаты в единственной таверне Деревни и вынужден ночевать в зале, в которой находятся еще несколько крестьян. Но и сон не дает ему защиты: как только он заснул, сразу же его будят для того, чтобы администрация Замка могла проверить его данные. На следующий день ему дают двух слуг, которые теперь как тени повсюду следуют за ним и даже в первую любовную ночь К. с буфетчицей Фридой на полу таверны в маленьких лужах пива не отходят ни на шаг от любовников. Неслучайно,

¹⁴ Далее ссылки на это издание приводятся в тексте лишь с указанием страниц, Р.Х.

по поводу Фриды у К. возникает подозрение, что она всё еще находится в связи с важным начальником Кламмом или, что Кламм эту связь с Фридой сам и организовал.

Квартира, которую получили Фрида с К. после того как К. согласился занять пост школьного сторожа, не обладает атмосферой личного. Речь идет о двух школьных классах, которые служат жильем лишь тогда, когда нет школьных уроков. Здесь, как и у Платонова в образе ОММ, границы между общественным и личным пространством стерты, и К. прямо задумывается над этим обстоятельством:

Нигде еще К. не видел такого переплетения служебной и личной жизни, как тут, они до того переплетались, что иногда могло показаться, служба и личная жизнь поменялись местами. (59)

Это положение осознает и секретарь связи Бюргель. К. разыскивает его в четыре часа утра в бюро господского двора в Деревне. Единственная мебель в квартире Бюргеля – это большая кровать, в которой он решает все свои дела. «В этом отношении» – говорит Бюргель, «мы не делаем разницы между обычным и рабочим временем. Такое различие нам чуждо» (247).

Важным элементом ликвидации личной сферы являются протоколы, которые пишутся и в случае личного или полуличного общения. Так, например, учитель написал «полуофициальный протокол» (88) о более или менее спонтанном разговоре К. со старостой Деревни. Тот факт, что автор протокола при разговоре даже не присутствовал, еще сильнее подчеркивает полный произвол чиновнического аппарата.

Однако нельзя сказать, что отношение К. к вездесущей бюрократической системе чисто отрицательное. Скорее его можно назвать амбивалентным. С одной стороны, К. ясно, что решение о том, возьмут ли его в качестве землемера на работу или нет, может дойти по инстанциям до нужных (т. е. доступных ему) органов лишь через много лет. Этот медленный и неумолимый процесс он называет «дурацкой путаницей, от которой, при некоторых условиях, зависит жизнь человека» (64), и которая представляет собой настоящую «угрозу» (66). Но с другой стороны, К. привлекает возможность вхождения в бюрократический аппарат:

И снова у него появилось ощущение необыкновенной легкости общения с местной властью. Они буквально брали на себя все трудности, им можно было поручить что угодно, а самому остаться ни к чему не причастным и свободным. (59)

Чем больше личная сфера К. попадает под контроль аппарата Замка, тем скромнее становятся его требования и тем слабее становится его сопротивление этому контролю. Если в начале он ожидал высокую зарплату землемера, самоуверенно осадил сына кастеляна и считал, что может «настоять на своем и перед графом», 11), то в скором времени он начинает довольствоваться унижительным положением школьного сторожа, а в конце романа он уже даже согласен за питание и жилье быть помощником возчика Герстекера (356, фрагмент).

Насколько глубоко К. воспринял идеологию Деревни, видно из его разговора с Пепи, в котором К. объясняет ей, почему она, не вступив в связь с Кламмом, не может помириться со своей предшественницей Фридой:

Даже тот, кто ничего не знал бы об отношениях Фриды с Кламмом, должен был по ее облику догадаться, что этот облик сложился под влиянием кого-то, кто стоит выше тебя, и меня, и всех людей в Деревне [...] (291)

Итак, фигура К. становится (еще одним) примером того характера, о котором Альфред Вебер говорит в своём эссе «Чиновник» следующими словами:

[...] с ужасом они видят, как психика населения приспосабливается к этому «аппарату», как она вползает в его комнаты, полки и подполки, как выискивает для себя теплое домашнее местечко, как вскарабкивается по лестнице, ведущей от одного теплого местечка к другому [...] (Вебер 1910, 1322, перевод – мой, Р.Х.)

Целерациональность

Как и в романе *Процесс*, в котором в юридические книги вместо параграфов включена порнография, так и в романе *Замок* бюрократия непрозрачна, произвольна и коррумпирована. Из многочисленных ситуаций, иллюстрирующих это положение, мы назовем только некоторые, а именно:

- сани начальника Кламма, которого никто даже точно не знает в лицо, имеют мягкую обивку и снабжены теплыми одеялами, шубами и изысканным коньяком;
- сын кастеляна Шварцер становится школьным служителем для того, чтобы валяться в ногах учительницы;
- когда учительница в бешенстве разбивает единственную личную собственность Фриды (кофейник), Фрида даже не думает подавать жалобу;
- чиновники заставляют просителей ждать в холоде на снегу, в то время как сами могут проспать все приемное время;

- старые письма вынимаются совершенно случайно из ящика стола и разносятся как актуальные сообщения;
- чиновники так часто замещают друг друга, что никто не знает, за что каждый из них отвечает;
- постоянно упоминается закон, но никто не знает, в чем этот закон состоит.

В результате в Деревне образуется строгая иерархическая система, отличительными чертами которой являются страх и карьеризм. Система охватывает все слои общества и определяет жизнь отдельного человека досконально и тотально, что особенно ярко проявляется в сценах романа, связанных с темой любви. В отличие от известной литературной традиции (ср. такие произведения как *Маджнун и Лейла*, *Ромео и Юлия*, *Памела*, *Мы* и т.п.), которая в любви видит возвышенную и субверсивную силу, любовь в *Замке* полностью подчинена системе: Ольга ночует у слуг на господском дворе лишь для того, чтобы получить нужную информацию, которая может облегчить судьбу ее семьи. То, насколько легко и естественно (как нечто само собой разумеющееся) она при этом себя продает, выясняется из ее разговора с К., в которого она, между прочим, по словам ее сестры Амалии, влюблена. В этом разговоре она прямо признается, что он значит для нее «чуть ли не больше, чем служба Варнавы в Замке» (179). Учительница ценит своего любовника в основном за то, что он является сыном кастеляна. Фрида даже боится, что ей могут не поверить, что она имела честь быть любовницей Кламма. Кламм в свою очередь является не только «командиром» над женщинами (188), которых он может подчинить своей воле, его престиж настолько высок, что создается впечатление, будто женщины его действительно любят.

Таким образом любовные отношения в романе только подчеркивают, насколько вся жизнь в нем превратилась в стремление занять как можно более высокое место в бюрократической иерархии. Каждое действие, каждая мысль имеет целью хоть как-то приблизиться к Замку (целерациональность), и близкий человек становится лишь инструментом социального подъема. (В этом отношении в *Замке* представлен мир, противоположный «второму Чевенгуру», в котором жители работают только при условии, что их деятельность является услугой близкому человеку.)

О том, насколько герои Кафки при этом глубоко несчастны, говорит рассказ Пепи о ее недавней работе. Из слов бывшей горничной становится ясно, что собственный успех достигается за счет неудачи других. Это ведет к недоверию, к атмосфере постоянной угрозы и страха.

Но не только второстепенные персонажи представляют этот бюрократизированный мир Деревни. Главный герой в этом отношении едва ли отличается от них: как только он прибывает в Деревню, он сразу же вступает в

любовную связь с Фридой, предполагая в ней любовницу Кламма и пытаюсь через нее добыть информацию о Замке. При каждом разговоре он думает в первую очередь о том, в какой мере собеседник может оказаться полезным на его пути к Замку, и даже из разговора со школьником Хансом, который в свою очередь также целенаправленно, как Фрида и Ольга, преследует свои интересы, К. пытается извлечь выгоду благодаря возможному знакомству с его матерью. От жителей Деревни К. отличается в основном лишь тем, что он с трудом смиряется со своим (незначительным) положением в системе. (Как раз, это его качество к концу романа и ослабевает: К. принимает предложение Герстекера взяться за работу конюха, повисает на плече Гестекера и позволяет ему «провести себя через темень», 356).

Насколько тотальна и жестока власть аппарата, читатель узнает на примере семьи Варнавы. Амалия, сестра Варнавы и Ольги, отказалась от предложения важного чиновника, и деревня сразу же начинает беспокоиться о своей «незапятнанной репутации» (194) и избегать их дом. Доходы «порочной», хотя ранее и всеми уважаемой, семьи Варнавы постепенно падают, и ей в скором времени приходится переехать в маленькую землянку. Не пройдет и трех лет, как родители превратятся в калек, потому что они загубят свое здоровье во время просительных хождений по канцеляриям влиятельных чиновников.

4. Платонов – Кафка

Если сравнить *Замок* Кафки с произведениями Платонова *Город Градов*, *Дураки на периферии* и *Чевенгур* с учетом теории рационализации и бюрократизации Вебера, то можно выделить несколько общих для всех этих произведений черт:

1. Как Кафка, так и Платонов показывают мир, который тотально подчиняет себе отдельную личность. Общность полностью обобществлена, общество – обобществлено.

2. Оба автора воспринимаются в историческом контексте укоренения тоталитарных систем, природу которых они в известном смысле и показывают. Одновременно, тексты обоих писателей, хотя и в различной мере, трансцендируют этот исторический фон, позволяя иное, символически-аллегорическое прочтение.

3. Формальным указателем и существенной чертой выражения образа тотальности и тоталитарности у обоих писателей является язык. Поэтому и Платонова, и Кафку можно отнести к представителям *лингвистической прозы*. Для этой прозы характерно, что в том, *как* что-то сказано, можно распознать, *что* сказано. Мир не столько *описывается* языком, сколько им

расшифровывается, т.е. то, что проявляется в самом языке (в способе выражения), включает в себя существенную часть сообщения. Признаковость языка свидетельствует о признаковости повествуемого мира.

4. Признаковость языка, которую мы по отношению к роману *Чевенгур* обозначили «углоссией» (Hodel 1998, 150), состоит в том, что она с *внетекстовой* точки зрения находится на границе с неграмматичностью. Такое впечатление возникает по крайней мере на основе употребления гипертрофированного бумажного, чиновничьего стиля. (Несомненно, Платонов сильнее нарушает языковую норму, но момент неграмматичности присутствует и у Кафки.)

5. Факт, что бюрократический язык представляет собой существенную часть углоссии, указывает у обоих авторов на процесс обобществления (рационализации и бюрократизации), который в их время испытывал бурное развитие и соответственно вызывал резкую (как положительную так и отрицательную) реакцию.

6. *Внутри текста* тотальный характер углоссии проявляется в том, что признаковый (отклоняющийся от литературной нормы) стиль охватывает как речь повествователя, так и речь действующих лиц. Вездесущность углоссии в тексте отражает тотальность системы (коммунизма-сталинизма, фашизма).

7. Унифицированность речи героев и повествователя реализуется посредством резкой перспективизации и модализации языка нарратора. Едва ли есть такое место в тексте, в котором повествователь предоставляет самостоятельную, независимую от героя точку зрения. Везде сквозь его речь просвечивает восприятие действующих лиц, хотя в то же время нельзя сказать, что мы имеем дело с четко выраженной несобственно-прямой речью. Каждое высказывание как будто парит над названными нарративными инстанциями, не принадлежа ни к одной из них (ср. Ходель 2008, 48-61).¹⁵ Расплывчатость речевых инстанций указывает на (утопическую или антиутопическую) унифицированность мира.

Несмотря на общие черты, которые в высшей мере отражают дух времени (*Zeitgeist*) и в частности мысль о том, что тотальность мира является следствием процесса рационализации и бюрократизации, в указанных произведениях можно найти и существенные различия.

Так, в произведении Кафки бюрократический аппарат в меньшей степени связан с исторической реальностью, чем в произведениях Платонова.

¹⁵ В *Замке* такое впечатление создается и тем, что все действующие лица способны на очень тонкие стратегические соображения. Не только К., но и Ольга, Фрида и даже школьник Ханс почти инстинктивно размышляют о том, как они могут втянуть другого человека в орбиту своих интересов.

Кафка описывает в первую очередь внутренний мир человека как такового. *Замок* является аллегорией виноватой, искаженной души. А эта искаженность приводит к тому, что стираются различия между отдельными лицами (К., Фрида, Гестекер, Ольга и др.). Вина определяется не на основании конкретных действий (исправимых и измеряемых), а как всем присущая несостоятельность. Угол зрения обращен не столько на конкретное общество, сколько на сомнительные в моральном плане стороны человеческой природы вообще. Отсюда возникает и родственность Кафки с таким автором, как Киркегард.

Подход Платонова исторически конкретнее, поскольку он руководствуется не морально-психологическим, а философско-идеологическим интересом. При этом его образ человека ни в *Чевенгуре*, ни в *Дураках...* нельзя назвать отрицательным. Несмотря на то, что в *Чевенгуре* проект «общества как общности» заканчивается катастрофой, символом которой становится смерть ребенка, его участники самоотверженно борются за новый, справедливый социальный строй. Смерть же ребенка не является ни следствием ошибочных поступков (т. е. индивидуальной вины), ни коллективного «первородного греха». Умерший ребенок символизирует провал идеологии, всё еще сохраняющей свою привлекательность. Этот парадокс создает и основное – эгегическое – настроение *Чевенгура*, в то время как в *Замке* преобладает мрачное настроение безотчетного страха.

Можно также заметить, что автор пьесы *Дураки...* показывает членов ОММ в первую очередь не как коррумпированных чиновников, которые сознательно злоупотребляют своим положением и работают исключительно на собственную пользу. Они скорее оказываются пленниками той самой системы, которой они так ревностно, хотя порой и бессознательно, служат. Но в отличие от коммунистов в *Чевенгуре*, они полностью потеряли веру в светлое будущее. Поэтому эгегическая тональность, которая и в *Чевенгуре* сопутствует гротеску, в *Дураках...* превращается в гротескно-пораженческое настроение. Крах иллюзий при этом однако относится не к человеку как таковому, а к воплощенной в ОММ идее, которую автор сам когда-то (будучи молодым публицистом) разделял.

Если выразить разницу между двумя писателями в одной формуле, то можно сказать, что Кафка сосредотачивается на морально-психологической стороне тотального государственного аппарата, а Платонов выдвигает на первый план его философско-идеологическую сторону.

И все же вывод обоих писателей достаточно схож. Выражаясь словами Хабермаса, которые в свою очередь отсылают нас к идее дихотомии Тённиса об общности и обществе (ср. Habermas 1995, II, 334, как и Keulartz 1995) и теории о рационализации М. Вебера (ср. Habermas 1995, I, 225-366), его можно сформулировать так: «Колониализация жизненного мира»

оказалась ошибкой. Обновление жизненного мира внутри системы (которое Хабермас видит, например, в форме гражданских инициатив) невозможно. Как Кафка, так и Платонов показывают тотальность, которую нужно или тотально воспринять или тотально отвергнуть.

Заключение

Размышляя о произведениях Платонова *Город Градов* и *Дураки на периферии*, мы сознательно не говорили об их непосредственном историческом контексте и обратились к текстам таких отдаленных современников писателя, как Кафка, Вебер и Тённис, которые едва ли оказали на него влияние непосредственно. Мы сделали это намеренно и с целью подчеркнуть тот факт, что история России неотделима от общеевропейской и что вопросы, которые ставятся в Западной и Центральной Европе, не теряют своего значения для России и наоборот. При этом актуализируя подход Тённиса и Вебера с помощью терминологии Хабермаса, мы предполагаем, что актуальность тех аспектов произведений Кафки и Платонова, о которых шла речь, не исчерпана до сегодняшнего дня.

Литература

- Eschenbach, M., Reichling, H. 1988. „Nachwort“, *Kollontai*, 225-247.
- Habermas, J. 1985. „Die neue Unübersichtlichkeit“, *Kleine Politische Schriften*, V, Frankfurt a.M.
- 1995. *Theorie des kommunikativen Handelns*, 2 Bde., Frankfurt a.M.
- Keulartz, J. 1995. *Die verkehrte Welt des Jürgen Habermas*, Hamburg.
- Kollontai, A. 1988. *Wege der Liebe. Drei Erzählungen*, Frankfurt/M. (russische Originalausgabe: Berlin 1925).
- Kafka, F. 1986. *Das Schloss*, Frankfurt a.M.
- Lange-Kirchheim, A. 1977. „Franz Kafka «In der Strafkolonie» und Alfred Weber «Der Beamte»“, *Germanisch-Romanische Monatsschrift*. Neue Folge, 27, 202-221.
- Murray, N. 2007. *Kafka und die Frauen. Biographie*, Übersetzt von Angelika Beck, Zürich.
- Tönnies, F. 1935. *Gemeinschaft und Gesellschaft*, Leipzig.
- 1979. *Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie*, Darmstadt.
- Weber, A. 1910. „Der Beamte“, *Die neue Rundschau*, Berlin, 21. Jahrgang der freien Bühne, Bd. 4, 1321-1339.
- Weber, M. 2005. *Wirtschaft und Gesellschaft*, Frankfurt a.M.
- Вебер, М. 2007. *Хозяйство и общество*, Пер. с нем. под научн. ред. Л.Г. Ионина, Москва.
- Кафка, Ф. 1989. *Избранное*, Перевод Р. Райт-Ковалевой, Москва.

- Корниенко, Н. 1995. «Город Градов» (Комментарии), *Платонов*, 640-645.
- Ленин, В.И. 1974. Государство и революция», *ПСС*, 5-е изд., т. 33, Москва.
- Ольминский М. 1925. *Государство, бюрократия и абсолютизм в истории России*, 3-е издание, Москва-Ленинград.
- Платонов, А. 1998. *Ювенильное море*, Москва.
- 1995. *Взыскание погибших*, Москва.
- 2006. *Ноев ковчег. Драматургия*, Москва.
- Тённис, Ф. 2002. *Общность и общество. Основные понятия чистой социологии*, Санкт-Петербург.
- Ходель, Р. 1998. «Углоссия – косноязычие, объективное повествование – сказ (к началу романа *Чевенгур*)», Hodel, R., Locher, J.P. *Sprache und Erzählhaltung bei Andrej Platonov*. (= *Slavica Helvetica*, 58), 149-159.
- 2008. «Платонов – Кафка – Вальзер: опыт подготовительного исследования», *Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы*, Книга 4, Под ред. Е.И. Колесниковой, Санкт-Петербург, 48-61.
- Яблоков, Е.А. 2008. «Разбойники, или Отцы без детей (Проблемы и герои пьесы „Дураки на периферии“)\», *Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы*, Книга 4, Санкт-Петербург, 157-167.